

A man and a woman are shown in a close, intimate pose. The woman, in the foreground, has blonde hair styled in a loose updo and is wearing a light-colored, silky, open-collared blouse. She is looking down with a somber expression. The man, standing behind her, has dark hair and a beard, and is wearing a dark suit with a white shirt and a dark tie. He is looking down at her with a serious, perhaps disapproving, expression. The background is a blurred city skyline at night, with lights from buildings visible. The overall mood is dramatic and suggests a story of emotional complexity.

ИЗМЕНА.

СТАРАЯ ЖЕНА
НИКОМУ НЕ НУЖНА

— АННА ЧЕРНОВА —

Анна Чернова

**Измена. Старая жена
никому не нужна**

«Автор»

2026

Чернова А.

Измена. Старая жена никому не нужна / А. Чернова — «Автор», 2026

— Лик, ну посмотри на себя, — муж брезгливо морщится. — Растяжки, целлюлит. От тебя ночным кремом пахнет, меня уже тошнит от него. С ней я мужик, а с тобой развожусь. Муж объявил о разводе на юбилее нашей дочери — под аплодисменты, с кольцом для её лучшей подруги в кармане. Мне сорок пять, и по брачному договору мне не досталось ничего: ни дома, ни денег, ни дочери, которая выбрала сторону отца. Я думала, падать ниже некуда, но когда мне пришлось согласиться на условия нового босса, я поняла, что ошибалась...

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	11
Глава 4	13
Глава 5	16
Глава 6	18
Глава 7	20
Глава 8	22
Глава 9	24
Г	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Анна Чернова

Измена. Старая жена никому не нужна

Глава 1

Двадцать лет назад в этот день я лежала в родильном отделении и разглядывала сморщенное личико, не веря, что такое счастье бывает со мной. Сегодня моей девочке двадцать, и я третий час хожу по банкетному залу — поправляю приборы, пересчитываю бонбоньерки, спорю с администратором из-за света. Слишком холодный, Соня на фотографиях выйдет бледной.

Платье на мне новое, тёмно-бордовое, я откладывала на него с февраля. Игорь утром скользнул взглядом и вернулся к телефону. Ничего, вечером заметит. Двадцать два года рядом с человеком учат ждать.

Гости съезжаются к семи. Родня мужа держится у окна своим кругом, свекровь целует меня мимо щеки и тут же спрашивает, где сын. Соня приезжает в серебристом платье, с причёской, которую мы выбирали вместе по картинкам в интернете, и у меня теплеет в груди от одного её вида. Следом входит Настя, дочкина подруга ещё со школы. Я обнимаю и её — эту девочку я кормила борщом с её пятнадцати лет, знаю про аллергию на цитрусы и помню, как она рыдала у нас на кухне после первой несчастной любви. Усаживаю её рядом с Соней и наливаю ягодный морс — специально такой заказывала.

Игорь появляется к горячему — свежий, в новом костюме, пахнущий каким-то чужим парфюмом. Целует Соню в макушку, кивает своим у окна, а мне издали показывает ладонь: потом, потом. Я киваю в ответ и занимаюсь гостями, потому что кто-то же должен следить, чтобы у тёти Тамары был её безлактозный десерт.

В десятом часу тамада шепчет мне, что пора готовить родительский тост. Так задумано: мы с Игорем выходим на сцену вдвоём, я начинаю про роддом, он подхватывает про первый велосипед, а в финале — слайдшоу, которое я делала три вечера.

Иду искать мужа. У барной стойки его нет, в курилке нет, телефон не отвечает. Администратор машет рукой в сторону служебного коридора за сценой — вроде туда пошёл ваш супруг.

Коридор узкий, заставлен ящиками из-под шампанского, и я уже думаю крикнуть его по имени, когда слышу из-за поворота знакомый смех. Тихий, грудной, каким он смеялся мне в шею тысячу лет назад.

В нише у пожарного выхода мой муж прижимает к стене Настю, зарывшись лицом в её волосы.

— Как я соскучился... Сейчас закончим официальную часть и сбежим в гостиницу... — шепчет Игорь, целуя подругу дочери в шею.

Настя обвивает его шею руками, на запястье вспыхивает браслет из бриллиантов. Узнаю украшение из каталога, который я показывала ему перед двадцатилетием свадьбы. Кризис, Лик, сказал он тогда, ну какие бриллианты.

— Зайчик, а ты мне денюшек скинешь на карточку? — Настя капризно тянет гласные. — Платье дорогое, а белье под ним еще дороже. Котик же хочет посмотреть? — мурлычет она.

— Котик очень хочет... — хрипит муж, задирая на ней платье.

Пол подо мной качается, и я, кажется, задеваю плечом ящик, потому что стекло звякает, и они оборачиваются. Настя ойкает и одёргивает подол. Игорь смотрит на меня несколько секунд, и в его лице нет ни ужаса, ни раскаяния — только досада, как при пропущенном звонке.

— Так, — он отходит от Насти и поправляет галстук, — только без истерик. Не здесь и не сейчас.

Я открываю рот, но вместо слов получается какой-то чужой сиплый звук. Муж перехватывает меня под локоть и уводит за угол, в закуток за сценой, где свалены стойки от микрофонов и пахнет пылью. Настя испаряется, проточав каблуками.

— У ребёнка праздник, — цедит он мне в лицо. — Хочешь сор из избы вынести? Давай, устрой скандал, испорти дочери двадцатилетие. Она тебе спасибо не скажет.

— Сколько это длится? — я едва узнаю собственный голос.

— Какая разница, — Игорь брезгливо морщится и оттягивает ворот рубашки. — Ты правда не понимаешь? Лик, ну посмотри на себя. Растяжки, целлюлит, вечная усталость. От тебя ночным кремом пахнет, меня уже тошнит от него. А у Насти сиськи знаешь какие? Задница, как орех! И заводится с пол-оборота. С ней я мужик, а с тобой ... — он машет рукой, как будто плюет.

И этот его жест бьет сильнее, чем слова. Стою среди пыльных стоек в платье, которое купила для него, и слушаю, как мужчина, которому я отдала двадцать два года, произносит вслух всё, на что стараюсь не смотреть в зеркале по утрам.

— Успокоилась? — Игорь одёргивает пиджак. — Вот и умница. Сейчас выходим, улыбаемся, тост, слайдшоу твоё дурацкое. А дома поговорим. Аркадий бумаги уже подготовил.

Даже так... Он, значит, готовился...

От шока я, как сомнамбула.

Мы поднимаемся на сцену с двух сторон, как репетировали. И уже наверху, под светом, я замечаю странное: зал не гудит. Гости смотрят на нас в полной тишине, официанты у дальней стены застыли с подносами, у свекрови лицо цвета белой скатерти. Тамада за пультом делает страшные глаза и чиркает себя ладонью по горлу.

Из того закутка, где мы только что были, поднимается запыханная администратор зала с микрофоном для тоста. Огонёк на нём горит ровным красным, и горел, судя по лицам в зале, всё это время.

Пятьдесят человек, включая мою дочь, слышали каждое слово через колонки, под которые час назад танцевали.

Я ищу глазами Соню и нахожу — она сидит очень прямо, щёки горят, пальцы комкают салфетку. Кто-то из её подружек прыскает в кулак, и по залу ползёт липкий шепоток. На меня смотрят с жалостью, и эта жалость хуже плевка.

Муж соображает быстрее меня, он всегда соображал быстро. Берёт микрофон, усмехается в зал широко и свободно, будто так и было задумано.

— Что ж, друзья, вышло не по сценарию, но шила в мешке не утаишь. Так ведь гласит народная мудрость? — Он выдерживает паузу мастерски — годы совещаний не прошли зря. — Мы с Ликой давно приняли решение расстаться. Жили ради дочери, сохраняли семью, как многие тут, чего уж. Сегодня Соне двадцать, она взрослая, и мы как раз собирались объявить о нашем решении. Должен признаться, я влюбился. Так случилось, такова жизнь. Ну а Настю вы все знаете. Видит Бог, я не планировал, но так получилось, что она — моя любовь.

Зал ахает одним общим выдохом. Настя уже идёт к сцене, и я вижу, что туфли у неё в тон браслету, и осознаю, что готовились оба. Как в замедленной съемке наблюдаю, как мой муж опускается на одно колено прямо у пульта и достаёт из внутреннего кармана коробочку.

— Настюш, выходи за меня, — произносит он чуть ли не со слезами на глазах.

Дальше всё происходит под визг и аплодисменты, которые нарастают неровными кусками. Настя прижимает ладони к губам, кивает, кольцо вспыхивает под софитами. И самое убийственное, что моя дочь — моя Соня, чью серебристую спину я вижу сквозь подступающие слёзы, — вскакивает с места, хлопает в ладоши и бежит к сцене обниматься с отцом и Настей — своей лучшей подругой, которая вот-вот станет её мачехой.

Я спускаюсь по ступенькам с другой стороны, и толпа расступается передо мной, как перед заразной. Господи, чего мне стоит пройти, держа спину ровно. В холле догоняет Аркадий

и протягивает папку, которую я беру на автомате, не говоря ни слова. Потому что если открою рот, то оттуда вырвется крик животного, которого режуь наживую.

На парковке моросит. Из зала глухо бухает музыка — праздник продолжается, кто-то уже кричит «горько».

На крыльце замираю на пару минут. Идти мне некуда, а двадцать два года моей жизни остались в зале, отплясывать под чужое «горько».

Глава 2

Ночь после юбилея я провожу на кухне у своей подруги Ларисы, потому что домой ноги не идут. Подруга разливает коньяк по чайным чашкам, слушает и время от времени произносит с чувством короткое «сволочь». Под утро она стелет мне на диване, а я лежу без сна и разглядываю чужой потолок, прикидывая, сколько таких потолков теперь будет в моей жизни.

Я просмотрела папку, которую мне вручил адвокат. Надо же, я все двадцать два года замужества и не вспоминала про брачный договор, который подсунул нам свекор перед свадьбой. Все твердил про то, что нужно меня от промахов мужа защитить: вдруг Игоря друзья убедят в пирамиду вложиться или кредитов набрать, а с договором хоть на жену не повесят долги. Тогда я думала, что мне повезло со свекрами... А в итоге при разводе я остаюсь буквально с голой жопой. Даже смысла нет судиться. Еще и откладывала деньги на накопительный счет, оформленный на Игоря.

— Ликусь, ну мне ставку больше дают! Для семейного бюджета так лучше! – убеждал муж, а я отдавала ему половину своей зарплаты. А на вторую половину вела хозяйство: продукты, лекарства, коммуналка.

Вот же дура!

За вещами еду через два дня, предварительно созвонившись, как велел Аркадий. Дверь открывает Игорь. В квартире пахнет чужими духами, и от этого запаха у меня в груди колет сильнее, чем от всего остального. В спальне возле нашей кровати уже стоят четыре клетчатые сумки, какие возят челноки.

— Я собрал твоё, чтоб тебе не возиться, — муж прислоняется к косяку и наблюдает, как я проверяю содержимое. — Шубу не ищи, она в химчистке, потом заберёшь. Драгоценности мамины остаются, сама понимаешь, семейные реликвии.

Семейные, значит. Серьги, которые свекровь дарила мне на рождение Сони, со словами «теперь ты наша». Я застёгиваю сумку и молчу, потому что торговаться за золотые цапки с подлецом выше моих сил. Гордость — единственное, что он ещё не переписал на себя.

В прихожей замечаю на тумбе чужую косметичку. Она уже здесь живёт?! Три дня не прошло!

Так и не сказав Игорю ни слова, хлопаю дверью и тащу сумки вниз.

Однушку нахожу через неделю, на самой окраине. Хозяйка, вьедливая пенсионерка, дважды пересчитывает залог и предупреждает, что гвозди в стены забивать нельзя. Обои в цветочек, продавленный диван, на кухне кособокий стол. Я расставляю на подоконнике свои кремы и понимаю, что вся моя жизнь уместилась в четыре клетчатые сумки, а ведь мне казалось, что я успела нажить так много.

Соня звонит в первый мой вечер на съемной квартире. Я вижу её имя на экране, и сердце заходится глупой надеждой — сейчас скажет, что ей стыдно, что она растерялась, что она со мной.

— Мам, ты только не начинай истерить, ладно? Я по делу. Ты папе скандалов не устраивай с разделом, он и так на нервах. Он мне стажировку в Лондоне обещал. Подпиши все мирно, ладно?

— Сонь, — я сажусь на продавленный диван, потому что стоять не получается. — Он привёл в дом твою подругу. Тебя это не смущает? Вы же ровесницы.

— Ну и что, любви все возрасты, сама же говорила. — Дочь раздражается. — Насте с ним хорошо, папа помолодел вообще. А с тобой ему знаешь как тяжело было? Ты вечно уставшая, вечно со своими отчётами. Мам, ну правда, что ты как маленькая. И это, не звони мне вечером, а то неудобняк перед Настей получается.

Дочка бормочет “пока” и отключается. А я иду в ванную, включаю воду и стою над раковиной, пока грудь не перестает сжимать рыданиями. Моей дочке неудобно перед подружкой, которую трахает ее отец.

Дожилась...

Чтобы не скатиться в окончательное жаление себя, я с головой окунаюсь в работу, часто засиживаясь до ночи. А что, дома никто не ждет ни ужин, да и кучу белья не нужно теперь гладить. Грустно улыбаюсь, занося в мысленный список очередной плюс в жизни разведенки.

Под конец месяца я с удовлетворением пересчитываю отчет о прибыли: мы сделали плюс двадцать процентов в этом квартале.

— Лидия Андреевна, Павел Семенович вызывает, — сообщает секретарь.

Иду к начальнику с улыбкой, готовясь выслушать благодарность и получить премию. Но вместо этого получаю взгляд куда-то мимо.

— Оптимизация, Лидия Андреевна, сами видите, что на рынке творится. Совет директоров требует сокращать издержки. А ваш оклад, мягко говоря, завышен. Мы на эту сумму двоих молодых возьмем, они и в соцсетях шарят, и работать готовы за перспективу.

— Я подняла вам прибыль на двадцать процентов за последний квартал, — напоминаю я, хотя уже вижу, что решение подписано. — Горящие глаза договор с сетями не вытянут.

— Вытянут, не вытянут, — директор вздыхает и наконец смотрит на меня. — Лирика, по-человечески скажу. Твой бывший супруг в нашей теме человек не последний, сама знаешь, с кем он в бане парится. Зачем мне это напряжение? Двухмесячное выходное выбил тебе, скажи спасибо.

Вот, значит, как. Игорю мало квартиры, дачи и Насти в моей кухне — ему нужно, чтобы я исчезла отовсюду, где мы можем пересечься. Я подписываю обходной, собираю коробку под взглядами притихшего отдела. Девочки прячут глаза, только Танечка из аналитики выскакивает за мной к лифту и суёт в коробку шоколадку, бормоча, что это всё несправедливо и она будет звонить.

Знаю, что не будет. Никто не звонит уволенным...

Рассылаю резюме. Одиннадцать ответов, из них восемь — вежливый отказ автоматом. Три собеседования, и на каждом одно и то же, разница только в упаковке. Молодая кадровичка с планшетом оглядывает меня и спрашивает, комфортно ли мне будет в коллективе, где руководителю двадцать девять. В другом месте интересуются, готова ли я к ненормированному графику в моём — заминка — возрасте и сколько обычно времени я провожу на больничных? В третьем просто обещают перезвонить, и девочка на ресепшене забывает выключить улыбку, провожая меня к выходу.

Мне сорок пять. Я свободно веду переговоры, знаю рынок наизусть, могу собрать рекламную кампанию с нуля на коленке, но всех почему-то больше интересует год моего рождения. Неужели я на пенсионерку похожа?

Деньги тают быстрее, чем я рассчитывала. Выходное пособие съедает три месяца аренды вперёд, на которых вдруг настояла хозяйка. Я завожу тетрадку и записываю расходы в столбик, как бабушка когда-то: проездной, крупы, оплата телефона. Шубу, которую Игорь так и не вернул из химчистки, перестаю ждать и продаю через интернет вторую. Покупательница, ухоженная дама на внедорожнике, мнёт мех, ищет проплешины и сбивает цену до неприличия, глядя мне в лицо и понимая, что я соглашусь. Я соглашаюсь.

Вечерами листаю ленту соцсети, хотя обещала себе не смотреть. Игорь выкладывает Мальдивы: бирюзовая вода, Настины ноги на фоне заката, подпись «жизнь начинается». Под фотографией лайк от Сони и комментариев с тремя сердечками.

В конце ноября, пересчитав остаток на карте, я впервые не покупаю кофе у остановки — двести сорок рублей, неуместная привычка из прошлого. Стою у ларька, дышу кофейным

паром и вдруг отчётливо, всем телом понимаю: помощи не будет. Ни от кого. Всё, что у меня осталось, — это я сама, мои сорок пять, две руки и голова, которую пока никто не отменял.

Телефон звонит, когда я поднимаюсь из перехода. Лариса.

— Лик, слушай. Мишка сейчас офис одному мебельщику ремонтировал, разговорились — дед-хозяин ищет маркетолога, у него там производство, а продаж ноль. Сразу предупреждаю: контора мелкая, оклад скорее всего будет смешной. Но хоть что-то, а дед, Мишка говорит, из тех, кто слово держит. Пойдешь?

Я смотрю на своё отражение в витрине ларька — круги под глазами, безнадега во взгляде. Женщина в стекле мне не нравится, но она всё ещё стоит на ногах.

— Поеду, — отвечаю я. — Диктуй адрес.

Глава 3

Производство прячется в промзоне за железнодорожной веткой, куда маршрутка доползает раз в сорок минут. Я иду вдоль бетонного забора по колее, разбитой грузовиками, и стараюсь не думать о том, что каблучки после такой дороги можно выбрасывать. В прошлой жизни я ездила на работу на машине с подогревом руля.

Вывеска у проходной облезла до полной нечитаемости. Охранник в тулупе машет рукой в глубь двора — вон туда, где пилят. Во дворе штабеля досок под снегом, ржавый погрузчик и запах, который я узнаю раньше, чем вижу цех: свежая стружка, смола и лак. Так пахло в дедовом сарае, где он мастерил табуретки, и от этого запаха внутри что-то на секунду отпускает.

Контора ютится в пристройке при цехе. Обшарпанный коридор, на стенах выцветшие грамоты за девяносто восьмой год, из бухгалтерии тянет валокордином и мандаринами. Меня встречает женщина в пуховом платке, представляется Ниной Григорьевной и ведёт к директору, оглядывая моё пальто с уважением и жалостью одновременно. Здесь так не одеваются, читаю я в её взгляде. Здесь на такие пальто не зарабатывают.

За столом, заваленным чертежами, сидит старик — крупный, седой, в вязаной жилетке поверх рубашки. Павел Павлович Кузнецов, хозяин всего этого хозяйства, смотрит на меня поверх очков долго и без церемоний.

— Значит, вы и есть маркетолог из большой стройки, — он кивает на стул. — Садитесь. Чаю будете? Нина Григорьевна, сообрази нам.

Я готовилась к обычному собеседованию и достаю папку с резюме, но старик отодвигает её, не глядя.

— Бумажки потом. Вы мне вот что скажите, Лидия Андреевна. Восемь лет в крупной компании, оклад небось раза в четыре больше моего потолка. Что ж вы ко мне-то пришли, на высылки?

Можно соврать про интерес к производству. Можно завернуть про новые вызовы, я сто раз слышала такие формулировки на собеседованиях по обе стороны стола. Старик смотрит внимательно, и под этим взглядом врать почему-то стыдно.

— Потому что больше никуда не берут, — слышу я собственный голос. — Мне сорок пять. Муж ушёл, оставил без жилья, дочь на его стороне. С прежней работы меня выдавили по его звонку. Мне нужны деньги и запись в трудовой, а вам нужны продажи. Я умею делать продажи, Павел Павлович. Это всё, что у меня осталось, но это я умею лучше многих.

В кабинете становится тихо, только за стеной поёт пила. Нина Григорьевна замирает в дверях с подносом. Старик снимает очки, протирает их краем жилетки и вдруг усмехается в усы.

— Первый человек за полгода, который мне не врёт. — Он водружает очки обратно. — Условия у меня, сами понимаете, не царские. Оклад сорок пять, кабинета отдельного нет, будете сидеть с Ниной Григорьевной. Продадите что-нибудь — процент положу, не обижу. Ну как, по рукам?

Сорок пять тысяч. Хватит на аренду квартиры, проезд и еду, если будет трехразовое питание — понедельник, среда, пятница. Но деваться мне некуда. Я протягиваю руку через чертежи, и стариновская ладонь оказывается сухой и твёрдой, как его доски во дворе.

Работы непочатый край, потому что этой стороны бизнеса не касались вообще никогда. Сайт компании выглядит как привет из две тысячи седьмого, на телефонные звонки отвечает кто успел, прайс существует в виде тетрадки Нины Григорьевны. При этом в цеху четверо мастеров делают мебель, за которую в московских салонах дерут втридорога — массив дуба, честная сборка, фурнитура без обмана. Кузнецов держит качество с упрямством старовера и прогорает, потому что о нём попросту никто не знает.

Я завожу таблицы, фотографирую готовые шкафы на телефон, выпрашиваю у Пал Палыча двадцать тысяч на нормального фотографа и получаю их после часа торга и лекции о том, как он в девяносто шестом начинал с одной циркулярки. Вечерами, в однушке, при свете кухонной лампы я переделываю сайт на конструкторе, потому что на программиста бюджета нет. Пальцы вспоминают ремесло, и это лучшее лекарство из всех, что я пробовала за последние месяцы.

В конце второй недели случается первая победа. Я дозваниваюсь до сети загородных отелей, которую вела ещё на старой работе, и уговариваю менеджера просто посмотреть образцы. Приезжает сноб в узких брючках, ходит по цеху, брезгливо трогая верстаки, а потом застревает у готового гарнитура и любовно гладит дубовую столешницу. Контракт на меблировку двенадцати коттеджей мы с Пал Палычем отмечаем чаем с сушками, и старик, разливая заварку, ворчит, что теперь придётся брать пятого мастера, вот же навязалась на его голову.

Ворчит, а глаза довольные. Я знаю эти глаза — у деда были такие же, когда табуретка выходила ладной.

Домой я теперь возвращаюсь затемно, в маршрутке, набитой работягами с соседних производств. Ноги гудят, под ногтями типографская краска от новых каталогов, оклад мой по-прежнему смешной. При этом я ловлю себя на странном: впервые за год я засыпаю без сновидного, едва коснувшись подушки. Оказывается, чтобы спать, человеку нужно быть нужным хоть кому-то по эту сторону двери.

Соня за месяц звонит один раз, спросить, не забирала ли я случайно её зимние сапоги, когда съезжала. Про мою жизнь не спрашивает вовсе. А ведь я всю жизнь старалась быть хорошей матерью. И мне даже казалось, что получается. Еще одна ошибка...

В феврале Пал Палыч зовёт меня в кабинет, долго сопит над бумагами и наконец двигает через стол приказ. Заместитель директора по развитию, оклад шестьдесят, процент прежний. Я смотрю на печать и на его хитрый прищур поверх очков.

— Только не зазнавайся, — старик грозит пальцем. — И это, Лидия Андреевна... Ты как насчёт того, чтоб на дачу ко мне в выходные? Не в том смысле, дура-баба, не красней. Смородину надо обрезать, а у меня спина. Заодно расскажешь, что там за интернет-реклама такая, которую ты клянчишь третью неделю.

Я смеюсь, впервые за долгие месяцы по-настоящему, до слёз в уголках глаз. Соглашаюсь и на смородину, и на разговор про рекламу, который выиграю, я знаю это заранее.

Жизнь, кажется, потихоньку встаёт на рельсы. Сорок пять – баба – ягодка опять? Так ведь говорят? Улыбаюсь сама себе, подрезая секатором смородину чужому старику, и радуюсь теперешней жизни с окладом в шестьдесят тысяч и контракту на двенадцать коттеджей. Смешно с высоты прошлой жизни, а только в прошлой жизни я не дышала так свободно, как в этой промзоне за железнодорожной веткой.

Глава 4

Весной Пал Палыч наконец сдаётся на интернет-рекламу. Выделяет бюджет, кряхтя, как будто отрывает почку, и первые же заявки с сайта изучает лично, водя пальцем по экрану с таким недоверием, словно там могут водиться мошенники поштучно.

По субботам я теперь у Ларисы.

— Чтоб как штык была у меня каждую субботу с отчетом, что жива и здорова, — берет с меня слово еще зимой, — иначе сама к тебе нагряну в твою хрущёвку.

И я с тех пор с удовольствием исполняю обещание. До невозможности уютно и тепло мне у подруги на кухне. У них с Мишкой своя бригада — он с рабочими на объектах, она ведёт заказы, сметы, налоги и войну с заказчиками, которые норовят не заплатить. Пятнадцать лет среди застройщиков, управляшек и перекупщиков научили её видеть насквозь любую контору по одному разговору с её бухгалтером. Денег при этом у них вечно впритык: то простой, то заказчик-банкрот, то пацаны-погодки вырастают из курток за сезон. А я с процентов, которые становятся все ощутимее с каждым месяцем, покупаю им то вкусняшек, то мальчишкам на карманные расходы подкидываю, когда Лариска не видит.

— Ну, рассказывай, — подруга подпирает щёку ладонью. — Как там твой дед с досками?

Я рассказываю про контракт с отелями, про то, как мы взяли пятого мастера, потом шестого, про новый станок, который Пал Палыч купил и неделю гладил, как коня. Лариса слушает и вдруг тихо радуется:

— Лица, знаешь, что ты живая стала? У тебя глаза горят. Я после того ресторана думала — всё, потеряю подругу, ты же серая была, как остывшая зола.

При ней одной я позволяю себе размякнуть. Рассказываю то, что не расскажу никому — как в марте случайно столкнулась с Соней в торговом центре, и дочь, идущая с Настей и паке-тами, сделала вид, что рассматривает витрину. Как я потом сорок минут сидела в маршрутке и давила в себе желание позвонить и наорать. Лариса не утешает по-глупому, не говорит «она одумается». Она молча пододвигает мне хлеб к борщу и ругается коротко и грязно в адрес Игоря, и от этой ругани мне легче, чем от любых мудрых слов.

— Дочь вернётся, — заявляет она в один из вечеров, помешивая суп. — Не потому, что совесть проснётся, я тебе честно скажу. Папашины деньги кончатся или боком выйдут — вот тогда и вспомнит, что мать есть. Ты, главное, к тому времени будь сильной. Прощать с высоты легче, чем с колен.

На работе тем временем у меня появляется собственный маленький мир. Нина Григорьевна, бухгалтерша в пуховом платке, поначалу смотревшая на моё пальто как на инопланетное явление, оттаяла после того, как я вылечила её войну с налоговой через знакомого консультанта. Теперь она подкармливает меня пирожками и снабжает сведениями, которых нет ни в одной ведомости: у какого мастера запой на подходе, кому из поставщиков верить нельзя, а главное — что Пал Палыч пьёт таблетки горстями и прячет их в ящике под накладными.

— Сын у него в Германии, — вздыхает она, перебирая платёжки. — Костик. Раз в год звонит, на Новый год. Старик не жалуется, но я-то вижу. Он в эту фабрику всё вложил, что людям положено в детей вкладывать.

Сам Пал Палыч к лету затевает то, о чём я боялась заикнуться, — расширение. Мы выигрываем тендер на мебель для сети семейных кафе, берём в аренду соседний ангар, и старик ходит по новому цеху, задрав голову, прикидывая, где встанут станки. В один из таких вечеров, когда все расходятся и мы остаёмся над чертежами вдвоём, он вдруг снимает очки и долго трёт переносицу.

— Я ведь, Лидия Андреевна, помирать собирался, — сообщает он буднично, как про погоду. — Честно скажу. Врачи мне ещё в позапрошлом году всякого наговорили, я и решил

— дотяну до банкротства и ладно. А теперь вот ангар взял. Плохо ты на меня влияешь, вот что. Теперь придётся жить, кредиты-то отдавать надо.

Он смеётся первым, и я подхватываю, а внутри у меня холодеет — я вспоминаю таблетки в ящике под накладными.

В июле мы впервые выходим в настоящую прибыль. Пал Палыч выписывает всем премию, а вечером мы с Ниной Григорьевной и мастерами пьём чай с тортом прямо в цеху, среди стружки, и старик произносит тост, из которого я запоминаю одно: «Главное в жизни — не с чем ты остался, а с кем». Мастера расходятся, а он ещё долго показывает мне на телефоне фотографии смородины и внуков Нины Григорьевны, которых считает почти своими.

Домой я еду последней маршруткой и ловлю себя на мысли, что счастлива. Не тем счастьем из прошлой жизни, глянцевым и оплаченным, а другим — состряпанным вручную из смешного оклада, чужой смородины, Ларискиного борща и стариковского ворчания. Это счастье прочнее, думаю я. Это уже никто не отберёт.

Я снова ошибаюсь...

Утром я привычно поднимаюсь на крыльцо конторы и упираюсь в запертую дверь директорского кабинета. Пал Палыч всегда приходит первым, к семи, это закон природы, как рассвет. В коридоре стоит Нина Григорьевна, прижав к груди платок, и по её лицу я понимаю всё раньше, чем она открывает рот.

— Ночью, — выговаривает она с трудом. — Соседка позвонила. Лёг спать и не проснулся. Сердце.

Дальше день рассыпается на осколки. Растерянные мастера курят во дворе, не заходя в цех. Телефон разрывается от поставщиков, и я отвечаю что-то, сама не слыша что. В ящике под накладными, когда мы с Ниной Григорьевной ищем документы, обнаруживаются таблетки — початая упаковка — и очки в футляре, вторые, которые он вечно терял.

На похороны из Германии прилетает сын Кузнецова — Костя — рыхлый мужчина за сорок, с лицом человека, у которого горят пересадки. Он стоит у гроба положенное время, поглядывая на часы, принимает соболезнования и путается, кому жать руку. Меня он выслушивает вполуха и перебивает на середине фразы про незакрытый тендер:

— Да-да, я понял, вы тут за коммерцию. Вот и славно. Значит, так: фабрику я продаю, покупатель уже есть, юристы работают. Персонал переходит вместе с активом, так что не паникуйте, работайте пока как работали. Меня самолёт ждёт.

Пока как работали... Я стою на кладбищенской аллее, смотрю вслед его такси и держу за локоть плачущую Нину Григорьевну. Земля на могиле человека, который научил меня заново жить, ещё не осела, а его дело уже продано — оптом, вместе с нами, как продают мебель с квартирой.

Вечером звонит Лариса, и я впервые за восемь месяцев прошу её приехать ко мне, а не наоборот. Она привозит борщ в банке, сидит со мной на продавленном диване до полуночи и на прощание обнимает:

— Лика, послушай меня. Ты один раз уже поднялась с нуля. Значит, снова сумеешь. Кто бы там ни купил вашу фабрику — ты им ещё покажешь, кто здесь незаменимый.

Проводив её, я долго не ложусь. Достая рабочую тетрадь и переписываю набело всё, что держится на мне: тендер по кафе, график поставок дуба, долги сетей, телефоны, явки, пароли. Если новые хозяева захотят разобраться в делах — вот они, дела, чёрным по белому, рукой человека, который знает здесь каждый гвоздь.

Уже в постели, в темноте, я вспоминаю, как Костя у гроба поглядывал на часы, и тетрадь на кухонном столе вдруг перестаёт казаться мне защитой. В прошлый раз у меня тоже всё было по-честному: двадцать два года стажа в семье, восемь лет в компании. Бумаги, стаж, заслуги — я уже видела, сколько это весит, когда решение принято без тебя.

Скоро на проходной будет висеть приказ о смене собственника. Я засыпаю с одной мыслью: что бы там ни висело — приходить первой, к семи, как приходил Пал Палыч.

Глава 5

В тот день, когда я вижу на месте охранника в тулупе парня в чёрной форме с шевроном незнакомого ЧОПа, который сверяет мою фамилию не с тетрадкой, а с планшетом, понимаю, что старой жизни пришел окончательный конец.

Во дворе, между штабелями дуба, припаркованы три одинаковых чёрных кроссовера с московскими номерами. Возле них курит водитель и смотрит сквозь меня, как смотрят люди, привыкшие возить начальство.

В конторе пахнет чужим кофе. Дверь кабинета Пал Палыча распахнута настежь, изнутри выносят его стол, который сделал он сам на заре своего бизнеса, и втаскивают другой, стеклянный, приехавший в плёнке. Я останавливаюсь в коридоре, и у меня внутри всё сжимается от этой плёнки сильнее, чем от похорон. Похороны — это горе, а плёнка — это зачистка.

— Вы к кому? — молодой человек в узком костюме вырастает передо мной с вежливостью автоответчика.

— Я здесь работаю. Заместитель директора по развитию.

— А, из прежнего состава. — Он сверяется с планшетом, и слово «прежнего» ложится между нами, как пропасть. — Ознакомьтесь с приказом на доске, в десять общее собрание в цеху. Пропуск временный, потом решим.

Потом решим. Про меня, и не спрашивая меня.

Собрание в цеху длится одиннадцать минут. Перед притихшими мастерами расхаживает мужчина примерно моего возраста, сухой, с гладким загаром человека, следящего за собой, — Круглов Вадим Аркадьевич, исполнительный директор управляющей компании. Фабрика вошла в состав холдинга «БарСтрой», собственник группы примет дела позже, а пока вся полнота власти у него, у Круглова. Он так и выражается — «вся полнота власти», пробуя эти слова на вкус.

— Актив приобретён в плачевном состоянии, — сообщает он, брезгливо оглядывая наш вылизанный и вымытый к его приезду цех. — Раздутый штат и кустарщина. Мы проведем аудит. По итогам аудита будут решения. Кто хочет уйти сам, не дожидаясь окончания проверки, — двери отдела кадров открыты, и я советую поторопиться, пока условия мягкие.

Мастера молчат. Дядя Толя, проработавший у Кузнецова девятнадцать лет, разглядывает свои руки. Я стою рядом с Ниной Григорьевной и чувствую, как она мелко дрожит под своим платком.

Аудит начинается в тот же день и больше похож не на проверку, а на обыск. Мальчики в узких костюмах — их четверо, все на одно лицо — вскрывают шкафы, изымают папки, фотографируют накладные. Нину Григорьевну допрашивают в её же бухгалтерии четыре часа подряд, и она выходит оттуда постаревшей, с мокрыми глазами и валокординовым запахом.

— Ищут воровство, — шепчет она мне в коридоре. — У Пал Палыча искать воровство, у покойника! Он копейки казённой за жизнь не взял, он премии нам из своих отдавал в плохие месяцы, а этот... этот меня спрашивает, куда я дела разницу по накладным за март. А там разница — потому что мы погорельцам с Заводской кухню за полцены отдали, Пал Палыч сам велел!

К концу недели вывешивают первый список. Восемь фамилий, среди них дядя Толя и оба грузчика. Формулировка одна на всех — несоответствие квалификационным требованиям. У дяди Толи руки, которые чувствуют дуб на ощупь, но у него нет сертификата о повышении квалификации, а у новых требований есть пункт про сертификат. Всё законно. Законнее не бывает.

Я иду к Круглову со своей тетрадью, переписанной набело в ночь после похорон. Прошу десять минут, получаю четыре. Раскладываю перед ним тендер по сети кафе, график поставок,

контракт с отелями — живые деньги, подписанные обязательства, неустойки при срыве. Толковываю, что нельзя резать мастеров под действующий заказ, что дядя Толя один стоит троих с любыми сертификатами.

Круглов слушает, откинувшись в кресле, и разглядывает меня с любопытством энтомолога.

— Лидия Андреевна, — он заглядывает в планшет, — сорок пять лет, в компании десять месяцев, оклад необоснованно повышен через четыре месяца после найма. Скажите честно, в каких отношениях вы состояли с покойным собственником?

Секунду я не понимаю вопроса. Потом понимаю — и кровь бросается мне в лицо.

— В рабочих, — отвечаю я, и голос у меня не дрожит, хотя внутри всё ходит ходуном. — Оклад повышен по итогам роста продаж на сорок процентов. Цифры в отчётах, которые вы изъяли. Полюбопытствуйте.

— Полюбопытствуем, — обещает он и улыбается одними губами. — Всё проверим, Лидия Андреевна. И цифры, и отношения, и вашу, так сказать, незаменимость. Пока можете работать.

Пока... Кажется, я уже ненавижу это слово.

Из кабинета я выхожу на негнувшихся ногах и в коридоре сталкиваюсь с Ниной Григорьевной — та стоит у окна и теребит заявление по соглашению сторон.

— Не могу больше, Лидочка, — она отводит глаза. — Сердце не выдержит ихних допросов. Мне два года до пенсии, доработаю по тихому в детском садике, там заведующая — соседка моя. А ты держись. Ты молодая ещё, зубастая. Кому-то же надо Палычево дело оборонять.

Она уходит в пятницу, тихо, ни с кем не прощаясь, как уходят с поминок. Её место занимает девочка из команды Круглова, которая первым делом выбрасывает из бухгалтерии герань.

А во вторник на моём столе появляется бумага. Уведомление о предстоящем расторжении трудового договора в связи с организационно-штатными мероприятиями, ознакомить под подпись, беседа у исполнительного директора назначена на четверг, на десять утра. Я читаю сухие официальные строчки и понимаю, что Круглов выдержал паузу специально — дал мне неделю посмотреть, как увольняют других, чтобы к четвергу я вползла в его кабинет уже сломанной и подписала всё по-тихому.

Вечером звоню Ларисе, и она долго молчит в трубку, а потом выдаёт неожиданное:

— Знаешь, что меня волнует? Ты говоришь, хозяин холдинга так и не приехал. Купил фабрику — и месяц носа не кажет, а этот его цепной всё рубит и рубит. Либо хозяину плевать, и тогда беги оттуда. Либо он не знает и половины, что там под его именем творят. Ты бы выяснила, Лик, кто он вообще такой, этот Баринов.

А ведь Лариска права. Я открываю ноутбук за полночь. Поисковик выдаёт очень мало: Баринов Алексей Викторович, пятьдесят один год, владелец группы компаний, интервью не даёт, фотографий почти нет — на единственной приличной он снят вполборота на каком-то форуме, высокий, сидящий, лица толком не разглядеть. Человек-тень, который одним росчерком купил дело Пал Палыча вместе со всеми нами.

В четверг, в десять утра, мне идти на беседу, после которой люди выносят коробки. Я закрываю ноутбук и достаю из шкафа деловой костюм из прошлой жизни. Сломанной этот хлыщ меня не увидит.

Глава 6

В четверг, без пяти десять, я стою у кабинета Круглова, а секретарша, не поднимая головы, сообщает, что беседа переносится: у Вадима Аркадьевича изменились приоритеты, на следующей неделе приезжает «Уютный дом», сорок магазинов, переговоры готовит новенький парнишка Артём, а от меня требуется передать ему все материалы по контракту.

Я иду по коридору, и меня разбирает злой смех. Неделю меня мариновали перед казнью, я гладила костюм и репетировала достоинство, а казнь перенесли, потому что палачу понадобились мои конспекты. Контракт с «Уютным домом» готовил ещё Пал Палыч — его мечта была, выйти в сети со своим дубом, — и без моих папок мальчишка Круглова не найдут в этой мечте даже входную дверь.

Материалы я собираю честно, потому что это контракт Пал Палыча, а не Круглова. Себе-стоимость по позициям, сроки, слабые места конкурентов, история самой сети — на чём они горели с прошлым поставщиком. Артём принимает папку двумя пальцами и при мне не открывает. Ему двадцать восемь, он окончил московские курсы по продажам, разговаривает словами «локация» и «целевая аудитория», а дуб от бука отличает по ценнику.

В воскресенье я звоню маме, как обычно, в одиннадцать утра, после её церкви. Мама рассказывает деревенские новости: у соседки Вали сын приехал из Сургута, кот ободрал новый диван, огурцы в этом году удались на славу. Банки она мне уже закатала, шестнадцать штук, стоят в сених — пусть Игорёк заедет, когда будет по трассе, чего добру пропадать. Я обещаю передать Игорьку и смотрю в окно однушки на гаражи. Девять месяцев я вожу маму по выдуманной жизни: у нас всё хорошо, Соня учится, муж работает. У мамы давление и один клапан на честном слове, ей нельзя волноваться, а мне проще соврать в трубку, чем услышать, как она заплачет.

— Голос у тебя усталый, — вдруг перебивает она саму себя. — Ликусь, ты там здорова ли?

— Здорова, мам. Работы много.

— Работа не волк. Ты приезжай, хоть на день. Я блинов напеку.

Я обещаю приехать, как обещаю почти год уже, и мы прощаемся.

В четверг к полудню в переговорку — бывший красный уголок, спешно обставленный стеклянной мебелью — заходят трое от сети и с ними четвёртый, который держится позад. Разглядеть его некогда: я подаю кофе, такая теперь у меня квалификация.

Через сорок минут из переговорки начинает тянуть горелым. Дверь приоткрыта, я слышу, как Артём плывёт: путает объёмы поставки, обещает сроки, которые цех не вытянет физически, а на вопрос о влажности древесины отвечает про клиентоориентированность. Коммерческий директор сети, женщина с короткой стрижкой, откладывает планшет:

— Молодой человек, вы продукцию свою видели? Мы к Кузнецову три года присматривались, у него дуб был качественный. А вы мне слайды показываете. Видимо, зря прокатились.

Они начинают собирать вещи. Сорок магазинов встают и уходят, мечта Пал Палыча уходит вместе с ними, и завтра Круглов повесит этот провал на старый коллектив, к гадалке не ходи. Я стою в дверях с подносом, и во мне что-то обрывается — терпение, страх, всё разом. Моё увольнение отложено, не отменено. Значит, терять мне уже нечего.

— Влажность восемь процентов, камерная сушка, — сообщаю я от двери. — Простите, что вмешиваюсь. По вашему прошлому поставщику — у вас было двадцать три процента рекламаций из-за повело-повылезло, поэтому спрашиваете про сушку. У нас за год — ноль возвратов по геометрии. Хотите, покажу цех? Пять минут, он за стенкой.

Женщина разворачивается ко мне вместе с креслом. Артём делает страшные глаза, четвёртый в углу поднимает взгляд от своих бумаг.

— А вы кто?

— Лидия Андреевна, зам по развитию. Контракт с вами готовила я, ещё при прежнем собственнике.

Дальше я веду их в цех, и это моя территория. Даю ей кусок распила, показываю сушильную камеру, зову дядю Толю — его вернули на той неделе, когда горел заказ, — и дядя Толя, Бог ему в помощь, рассказывает про дуб так, что у самой мурашки. Обратно в переговорку мы возвращаемся другой компанией. Я раскладываю цифры по памяти, свою же папку, которую Артём так и не открыл: объёмы по кварталам, честные сроки, штрафные, которые мы готовы на себя взять, потому что в качестве уверены.

— Вот с этого надо было начинать, — женщина захлопывает планшет. — Готовьте протокол, пилот на восемь магазинов. И пожалуйста, чтобы дальше по проекту была вот она, — кивок на меня, — а не этот ваш выпускник-троечник.

Когда все выходят, четвёртый задерживается в дверях. Вблизи ему хорошо за пятьдесят, усталое лицо, внимательные глаза, на переговорах он не записал ни слова.

— Ноль возвратов по геометрии — это правда или для красивого словца? — интересуется он негромко.

— Правда. Один возврат был, но по вине перевозчика, мы переделали за свой счёт.

— Значит, не ноль, — он еле заметно усмехается. — Точность — редкая привычка.

И уходит вслед за остальными, а я остаюсь стоять посреди переговорки с пустым подносом и странным ощущением, будто из всех сегодняшних экзаменов главным был вот этот — в дверях.

Вечером Артём о чём-то долго докладывает Круглову за закрытой дверью, и я догадываюсь, чьё имя там склоняется. Плевать. Я иду через тёмный двор к проходной, на ходу набирая Ларису — похвастаться, что дождала «Уютный дом», что мечта Палыча будет жить. Подруга не отвечает, зато на экране высвечивается чужой номер с маминым кодом города.

— Лидия Андреевна? — женский голос, от которого сразу холодеет под рёбрами. — Вас беспокоят из районной больницы. Ваша мама, Вера Степановна, доставлена по скорой. Состояние тяжёлое, сейчас она в реанимации. Вы приехать можете?

Двор плывёт у меня перед глазами, штабеля дуба, фонарь над проходной, всё плывёт. Я слышу собственный голос, который спрашивает про палату, про врача, про то, что взять с собой, — правильный, собранный голос, а сама стою и держусь свободной рукой за холодные доски.

Утром она собиралась печь блины. Я обещала приехать и не приезжала девять месяцев, я берегла её от своей правды, а надо было просто сесть в автобус.

Ночной экспресс идёт четыре часа. Я еду, прижавшись виском к чёрному стеклу, и торгуюсь с Богом, как торгуются все дочери на свете в таких автобусах: пусть она выживет, а я справлюсь с чем угодно. Я ещё не знаю, во сколько мне обойдётся это «что угодно», и знать не хочу. Пусть только дышит.

Глава 7

Сию под дверью реанимации на жёсткой кушетке четвёртый час, и дежурная медсестра уже дважды приносила мне воду в мятном пластиковом стаканчике — наверное, у меня такое лицо, что людям хочется что-то сделать для меня.

К маме пускают утром, на десять минут, в халате и бахилах. Она лежит маленькая, в проводах, лицо цвета наволочки, и, увидев меня, первым делом пытается поправить волосы. Рука с катетером не слушается, и я торопливо приглаживаю ей седую прядку сама, чтобы она не дёргалась.

— Напугала я тебя, Ликусь, — шелестит она виновато. — Ты на работе отпросилась? Неудобно-то как. А Игорёк знает? Ты ему скажи, пусть не волнуется, обойдётся всё.

Игорёк. Даже здесь, между приступами, она думает, как бы не обеспокоить моего мужа. И я понимаю, что больше не могу. Нельзя, ей вредно волноваться, а только врать человеку в реанимации — последнее дело, после такого себя не отскрести.

— Мам, мы с Игорем развелись. Год почти. Он ушёл, я живу одна, снимаю квартиру и работаю на мебельной фабрике. У меня всё нормально, слышишь? Я справляюсь. Я не говорила, потому что дура, прости.

Мама молчит, и монитор над ней считает её сердце — я невольно слежу за цифрами, как за курсом валют. Потом она находит мою руку и сжимает неожиданно крепко.

— Ты, выходит, меня берегла, одна всё это тащила, девочка моя.

Я плачу, уткнувшись в тонкое одеяло, а мама гладит меня по голове рукой с катетером, как в детстве после прививки.

Медсестра выпроваживает, а в коридоре уже ждёт врач — усталый пожилой мужчина с папкой под мышкой. Он безэмоционально сообщает, что клапан, который держался на честном слове, больше не держится. По квоте очередь — месяцев восемь, а у Веры Степановны, он смотрит мне в глаза, этих месяцев нет. Есть недели. В Москве делают платно, центр хороший, он сам туда звонил утром по другому пациенту.

— Сколько? — спрашиваю я, и голос у меня деловой, чужой.

— С реабилитацией — миллиона полтора выйдет, может, миллион шестьсот. Я вам напишу контакты. Вы не тяните, Лидия Андреевна. Тут тот случай, когда деньги — это время в чистом виде.

Обратно я еду с листочком, на котором синей ручкой написан приговор с телефонным кодом. Миллион шестьсот. Моя зарплата за два года, если не есть.

Дальше начинается неделя, которую я потом буду вспоминать, как ныряние в прорубь — по счёту, на выдохе. Продаю остатки золота из прошлой жизни: цепочку, обручальное кольцо, серёжки с сапфирами, подарок на сорокалетие. Скупщик взвешивает мою биографию на ладони и отсчитывает восемьдесят три тысячи. Иду в банк, где у меня зарплатная карта, заполняю анкету на кредит и получаю отказ через сорок минут: доход недостаточен, возраст заёмщика, отсутствие обеспечения. Во втором банке дают предварительное одобрение на триста тысяч под грабительский процент, и я соглашаюсь и на грабительский.

Лариса приезжает вечером без звонка, выкладывает на мой кособокий стол банковскую пачку в резинке.

— Двести. Мишкины, на станок откладывали. Молчи, — она вскидывает ладонь раньше, чем я открываю рот. — Станок подождёт, Вера Степановна ждать не может. Отдашь, когда сможешь, хоть через десять лет. И не реви мне тут, а то сама зареву.

Мы все же обе плачем, обнявшись посреди кухни, а потом пьём чай и считаем на бумажке. Восемьдесят три плюс триста плюс двести плюс мои отложенные сто десять. Шестьсот девяносто три. Меньше половины.

И остаётся последняя дверь, в которую я зарекалась стучать.

К Игорю в офис я записываюсь через секретаршу, по фамилии, которая у нас теперь разная. Он принимает меня в кабинете с панорамным окном, и первые секунды я вижу на его лице опаску — решил, что я с претензиями по состоявшемуся разводу. Услышав про маму, он расслабляется и даже изображает лицом сочувствие.

— Вера Степановна, надо же. Крепкая была старушка. Блины её помню, знатные блины.

Я сглатываю «была» и прошу. Спокойно, по-деловому, как репетировала в маршрутке: не подарить — одолжить, любые условия, любые сроки, речь о жизни человека, который двадцать два года был ему родней.

Игорь выслушивает, откинувшись в кресле, и с сожалением разводит руками.

— Лика, ну сама посуди, с какой стати? Мы чужие люди. По документам я тебе ничего не должен, ты бумаги подписывала, не под дулом же. Благотворительностью я занимаюсь адресно, через фонд, у меня отчётность. — Он выдерживает паузу и оживляется, будто его осенило. — Хотя слушай, могу дать в долг под расписку, нотариально, под восемнадцать процентов годовых. Дружеская ставка, между прочим, банк тебе таких не даст. Настя, конечно, ворчать будет, у нас расходы сейчас, свадьба была недешёвая... Но тёща всё-таки. Бывшая.

Он улыбается собственной шутке. Восемнадцать процентов годовых на операцию женщины, которая пекла ему блины каждую масленицу и называла сыночком. Я смотрю на него через стол и с ясностью, от которой звенит в ушах, понимаю: он ждал этого. Он наслаждается. Год назад я ушла с того банкета с прямой спиной, не заплакала, не умоляла — и вот теперь я сижу в его кабинете просительницей, и он растягивает удовольствие, как растягивал когда-то хороший коньяк.

— Я обдумаю твоё щедрое предложение, — я поднимаюсь и разглаживаю юбку. — Спасибо, что нашёл время.

— Подумай, — он тоже встаёт, довольный. — Только недолго думай, у мамы твоей, как я понял, со временем не очень.

До лифта я дохожу, не знаю, как. В лифте, между четырнадцатым этажом и первым, меня складывает пополам в беззвучных сухих рыданиях. На первом этаже я выпрямляюсь, поправляю волосы и выхожу через вертушку в серый день.

Миллион шестьсот минус шестьсот девяносто три. Девятьсот семь тысяч, которых у меня нет и взять неоткуда. В телефоне — непрочитанное сообщение от врача из райцентра: состояние стабильно тяжёлое, готовьте документы, время работает против нас.

Я стою на продуваемой площади перед стеклянной башней и понимаю, что готова на всё. Слово «всё» ещё не имеет формы, оно просто стучит в висках в такт шагам, когда я иду к остановке. Завтра пятница, фабрика, недописанный протокол по «Уютному дому». Работа — единственное, что у меня осталось, и я буду держаться за неё, пока не придумаю, где взять девятьсот тысяч на мамино сердце.

Глава 8

В пятницу к вечеру фабрика пустеет рано — при Круглове никто не задерживается, люди научились исчезать ровно в шесть, чтобы лишний раз не попадаться на глаза. Мне исчезать некуда и незачем. В однушке меня ждут стены в цветочек и листочек с телефонным кодом, а здесь хотя бы работа: протокол по «Уютному дому» должен уйти в сеть до понедельника, и я сижу над спецификациями, пока цифры не начинают двоиться.

Около девяти я иду в приёмную к принтеру — мой опять зажевал лист. Коридор тёмный, только из-под двери бывшего кабинета Пал Палыча выбивается полоска желтого света. Круглов на месте, и я замедляю шаг, чтобы проскользнуть мимо тихо: сталкиваться с ним наедине в пустом здании — удовольствие ниже среднего.

Дверь прикрыта неплотно. И голос из-за неё звучит так буднично, что смысл доходит до меня не сразу.

— Да протокол у них почти готов, пилот на восемь магазинов... Нет, ты не понял. Сорвать уже не получится, баба эта вытащила контракт, чтоб её. Теперь слушай, что предлагаю. Я тебе до конца месяца сливаю всю базу: заказчики, себестоимость, поставщики дуба, условия по тендеру с кафешками. Ты выкатываешь встречное предложение ихним сетям процентов на десять ниже — с твоими объёмами потянешь. Через квартал этот актив показывает убыток, Баринов психует и скидывает его за полцены. Кому скидывает? Ну а кто первый предложит, тот и купит, — Круглов смеётся коротким сытым смешком. — Мои три процента сверху, как договаривались. И место в правлении, Гена, место в правлении, я в наёмных пастухах засиделся.

Стою в тёмном коридоре с зажёванным листом в руке и слышу собственное сердце. Вот, значит, зачем был аудит с обысками. Вот зачем резали мастеров под живой заказ. Он не оптимизирует — он топит фабрику, чтобы хозяин продал её за бесценок нужному человеку. Дело Пал Палыча собираются зарезать, как барана, и даже цену уже назначили — три процента сверху.

Правильнее всего — уйти неслышно, доработать до увольнения и забрать трудовую. Меня это не касается, я тут временная, у меня мама в реанимации и девятьсот тысяч долга перед судьбой. Но я не могу так. Не могу предать человека, который сам того не зная, помог мне выжить. Делаю решительный шаг вперед, и старая половица подо мной отзывается на весь коридор.

Разговор за дверью обрывается. Створка распаивается, и мы с Кругловым смотрим друг на друга — он с телефоном в опущенной руке, я с мятым листом, и по моему лицу он читает всё, до последней цифры своих процентов.

— Подслушиваем, — он констатирует почти ласково и убирает телефон в карман. — Нехорошо, Лидия Андреевна. Некрасиво.

— Я передам собственнику, — отвечаю я, и голос мой звучит ровнее, чем я ожидала. — Всё, что слышала, слово в слово. Пусть он разбирается, что тут красиво, а что нет.

С его лица сползает вальяжность, как плёнка со стеклянного стола. Он делает шаг из дверного проёма, и я впервые замечаю, что он выше меня на голову.

— Кому передашь? — интересуется он тихо. — Баринову? Ты его видела хоть раз? Он трубку берёт от пяти человек в стране, и ты, дорогая моя, в этот список неходишь. Зато знаешь, кто входит? Я. Моими глазами он на этот сарай смотрит, моими ушами слушает. Я ему завтра доложу, что зам по развитию, уволенная за утрату доверия, сводит счёты и клеветает. Как думаешь, кому он поверит — мне или бабе с помойки, которую покойный дед неизвестно за какие заслуги в замы вывел?

— Проверим, — я поворачиваюсь к выходу.

Договорить он мне не даёт. Пальцы смыкаются на моём локте и дергают назад с такой силой, что лист улетает на пол, а меня впечатывает лопатками в стену между грамотами девяносто восьмого года. Ладонь ложится мне на горло — не сжимая пока, просто обозначая, где я и где он.

— Ты не поняла, — дышит он мне в лицо мятной жвачкой и злобой. — У тебя мать в реанимации, мне кадровичка доложила, ты справку приносила. Операция, наверное, нужна, деньги нужны, побегаешь ещё, поунижаешься. А теперь представь, что ты вылетаешь отсюда по статье, с волчьим билетом, и ни одна контора в области тебя на порог... Тихо сидеть будешь? Или помочь тебе решение принять?

Пальцы на горле сжимаются, и в глазах у меня начинает темнеть по краям, а в голове, странное дело, ни страха, ни мольбы — только холодная, презрительная ясность: вот у этого — место в правлении, а дядю Толю с его руками вышвырнули за отсутствие бумажки. Я вцепляюсь ногтями в его запястье и хриплю в это гладкое загорелое лицо:

— Убери руки. Ты уже проиграл, ты просто ещё...

Свет в коридоре вспыхивает весь разом.

— Что здесь происходит?

Голос от входа негромкий, но Круглова от меня отбрасывает, как от оголённого провода. Он одёргивает пиджак, разворачивается — и я вижу, как стремительно перестраивается его лицо: злоба, испуг, и поверх всего — служебная, преданная гладкость.

— Алексей Викторович... Вы же завтра собирались... Тут недоразумение, сотрудница в неадекватном состоянии, я вынужден был...

Алексей Викторович. Я стою у стены, держась за горло, и смотрю на человека в дверях — высокого, сидящего, в костюме без галстука. Тот четвёртый с переговоров. Тот, что спрашивал про ноль возвратов и не записал ни слова — хозяин холдинга, купивший нас оптом, человек-тень с единственной фотографии вполоборота.

— Недоразумение, — повторяет Баринов без выражения и переводит взгляд на меня. — Лидия Андреевна, вы в состоянии говорить?

Горло саднит, и голос выходит с хрипом, но я рассказываю ему все. Круглов дважды пытается вклиниться со словом «клевета», и оба раза Баринов останавливает его коротким движением ладони, не поворачивая головы.

— Телефон, — он протягивает руку к Круглову, когда я замолкаю.

— Алексей Викторович, это произвол, я не обязан...

— Не обязан, — соглашается Баринов ровно. — Служба безопасности с восьми утра работает с биллингом и твоей почтой, Вадим. С прошлого вторника работает, если точнее. Мне было интересно, на кого ты выведешь, и за Гену Стрельникова я тебе отдельно благодарен, самому бы в голову не пришло. Пропуск оставишь на проходной. Приказ будет ночью.

Круглов переводит взгляд с Баринова на меня — и в этом втором взгляде столько бесильной ненависти, что дрожь пробивает. Он уходит по коридору, не оглядываясь, хлопает дверь, и мы остаёмся вдвоём среди выцветших грамот.

— Сядьте, — Баринов кивает на стул в приёмной и сам подаёт мне воды из кулера. Смотрит, как я пью, как дрожит стакан в моей руке, и в его внимательных глазах нет ни жалости, ни неловкости — он будто считает что-то, сверяет, взвешивает. — Ноль возвратов, значит. А я ведь запомнил вас ещё по переговорам, Лидия Андреевна. Точность — редкая привычка. Честность — встречается ещё реже. Дорогая привычка, между прочим, не всякий может себе позволить.

Он придвигает второй стул и садится напротив — так сядут к столу переговоров.

— У меня к вам разговор.

Глава 9

Вода из кулера отдаёт пластиком, а я всё пью и пью, чтобы собрать себя в кучу. Баринов ждёт, не торопя, — но это не деликатность, понимаю я постепенно, а привычка человека, у которого всё равно никто не уйдёт из комнаты раньше, чем он закончит.

— Итак, разговор, — он отодвигает манжет и смотрит на часы, дорогие и без единого лишнего знака. — Завтра в девять придёте к этому кабинету, подпишете договор о неразглашении, потом узнаете суть предложения. Сегодня только общие условия. Вопросы задавать можно, отвечать на все я не обязан.

От такого перехода я даже забываю про горло. Минуту назад этот человек подавал мне воду, и мне померещилось в нём что-то живое, а теперь напротив сидит функция в дорогом пиджаке и распоряжается моим завтрашним утром, не спросив, свободна ли я.

— А если я скажу, что никуда не приду?

— Скажите, — он пожимает плечами и снова смотрит на часы. — Тогда я извинюсь за отнятое время, и мы разойдёмся. Только вы придёте. Человек, которому есть куда идти, не сидит на работе в пятницу в десять вечера.

Он попадает так точно и так между делом, что мне нечем ответить. Ни семьи, ни дома, некуда спешить — всё это написано на мне, оказывается, крупным шрифтом, и он прочёл мимоходом, между двумя взглядами на циферблат.

— Вы всегда так разговариваете с человеком, которого только что душили ваши сотрудники?

— Я с вами вообще не собирался разговаривать, — спокойно отвечает он. — Я приехал за Кругловым. Вы попались по дороге и за один вечер показали мне больше, чем его команда за месяц. Считайте, что прошли собеседование, о котором не знали. И вы как раз та, кто мне нужен. Разовая работа, ничего противозаконного. Оплата скажем, миллион двести наличными.

Цифра повисает в воздухе приёмной, между грамотами и кулером, и я слышу, как громко тикают настенные часы, оставшиеся ещё от Пал Палыча. Миллион двести. Девятьсот семь тысяч, которых мне не хватает, и ещё останется на реабилитацию, на сиделку, на первые месяцы. Мамино сердце, взвешенное и оплаченное за семь дней.

И тут же, следом, холодной волной: за какую работу немолодой женщине платят такие деньги за неделю.

— Я не понимаю, что вы мне предлагаете, — медленно говорю я, — но если это то, о чём принято думать в таких случаях...

— Перестаньте, — он морщится, как от фальшивой ноты. — Если бы мне требовалось то, о чём принято думать, я решил бы вопрос за существенно меньшие деньги и не на этой фабрике. От вас не потребуется ничего противозаконного и, разумеется, ничего такого, где пришлось бы раздеваться, — на этой фразе мне кажется, что он едва заметно морщится. Но я не уверена.

— Вам нужно будет быть со мной рядом в течение недели. Остальные подробности узнаете после подписания бумаг. Проживание семь дней за городом, полная изоляция от вашей текущей жизни, телефон сдадите. Легенду получите. По окончании — расчёт и, если справитесь, разговор о вашем будущем в моей компании. Всё.

— Вы ничего не рассказываете, но я должна согласиться до того, как узнаю подробности. Вы понимаете, как это выглядит?

— Прекрасно понимаю. — Он поднимается: разговор для него, судя по всему, окончен. — Это выглядит как сделка вслепую, потому что это она и есть. Я покупаю ваше время и ваше молчание, вы покупаете... — он окидывает меня коротким взглядом, от стоптанных за день туфель до воротника, и в этом взгляде нет ни мужского интереса, ни сочувствия, один расчёт,

— ...то, на что вам очень нужны деньги. Что у вас там — долги, ипотека, дети, — меня не интересует. Мне не нужна ваша биография, мне нужна исполнительница. Это, кстати, условие: никаких личных историй, никаких сближений, никаких вопросов сверх легенды.

— Просто бизнес, ничего личного, — произношу с грустной усмешкой.

— Именно так, Лидия Андреевна. Я рад, что мы поняли друг друга.

Меня вдруг обжигает злостью — богатый бездушный чурбан! Год назад я бы встала и ушла, хлопнув дверью так, что грамоты бы осыпались. Но проблема в том, что год назад у меня была квартира, работа, семья и иллюзия, что со мной нельзя разговаривать как с прислугой.

Сейчас у меня мама в реанимации и минус девятьсот семь тысяч.

— Какие гарантии, что вы заплатите? — спрашиваю я вместо того, чтобы уйти.

— Договор с неустойкой, аванс пятьдесят процентов после подписания, — он отвечает мгновенно, скучным голосом, как о погрузке дуба. — Если вам недостаточно моего слова. Остальное — завтра, в девять. Опоздаете на пять минут — предложение будет автоматически снято.

Он уходит, не прощаясь, и через минуту во дворе мягко хлопает дверца, шуршит по грязи тяжёлая машина. А я остаюсь стоять посреди приёмной и меня трясёт — от пережитого, от злости, от его «меня не интересует» и от того, что завтра в девять я приду. Мы оба это знаем.

Ночью я не сплю. Сажу на кухне под лампой, передо мной листочек с кодом города и телефоном врача, и я раскладываю на столе свою жизнь, как пасьянс из потрёпанных карт.

Что я знаю об этом человеке? Ничего. Тень с единственной фотографии, купившая нас оптом. Холодный, жестокий — такой раздавит, перешагнёт и не заметит. Что он покупает за миллион двести — я не знаю. Знаю только, что на весах: с одной стороны — семь дней неизвестности рядом с человеком, у которого вместо сердца калькулятор. С другой — мамина жизнь.

Весы такие смешные, что даже не качаются.

Утром я прихожу без четверти девять. Секретарши ещё нет, зато в приёмной уже ждёт незнакомый молодой человек с папкой — юрист, представляется Денисом, раскладывает передо мной бумаги: договор о неразглашении, шесть страниц мелким шрифтом. Внимательно читаю и подписываю. Едва я откладываю последний подписанный лист, дверь кабинета открывается и выходит Баринов с тем же непроницаемым лицом.

— Пунктуальна, — отмечает он вместо приветствия и приглашает жестом руки меня внутрь. — Садитесь, Лидия Андреевна. Теперь по существу. На следующие семь дней вы — моя жена...

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.